

Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2022. № 1(33). С. 120—133.
Economic and Socio-Humanitarian Studies. 2022. 1(33). С. 120—133.

УДК 1 -130-3
doi:10.24151/2409-1073-2022-1-120-133

В объятиях совести. И в уме

Геннадий Васильевич Лобастов

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) — МАИ, Москва, Россия

В форме эссе на эскизах различных картинок, связанных с жизненными судьбами, философией и психологией, экзистенциальными началами и субъективно-личностной позицией, модифицирующейся в зависимости от обстоятельств и ищущей абсолютное основание своего Я — через, казалось бы, разбросанные смысловые сюжеты проведена сквозная проблема взаимосвязи ума и совести.

Ключевые слова: ум; совесть; мышление; истина; история; свобода; ад; рай; миф; Я.

Для цитирования: Лобастов Г. В. В объятиях совести. И в уме // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2022. № 1(33). С. 120—133. <https://doi.org/10.24151/2409-1073-2022-1-120-133>

In the arms of conscience. And in the mind

Gennady Vasilyevich Lobastov

Moscow Aviation Institute (National Research University) — MAI, Moscow, Russia

In the form of an essay on sketches of various pictures related to life destinies, philosophy and psychology, existential beginnings and a subjective-personal position, modified depending on circumstances and looking for the absolute basis of one's self - through seemingly scattered semantic plots, a cross-cutting problem of the relationship between mind and conscience is carried out.

Keywords: mind; conscience; thinking; truth; history; freedom; hell; paradise; myth; I.

For citation: Lobastov G. V. In the arms of conscience. And in the mind // Economic and Socio-humanitarian studies. 2022. No. 1(33). P. 120—133. <https://doi.org/10.24151/2409-1073-2022-1-120-133>

Форма эссе, похоже, более чем, скажем, геометрическая, как это осуществляется у Спинозы, — эссе ближе всего для научного текста соответствует разбросанному стилю эпохи распространённого постмодернизма,

идущего вослед на больших скоростях меняющейся действительности. Мысль тут и саму себя не успевает в своей сущности ухватить, по пути теряя *истины*, а вслед за этим и *совесть, красоту и добро*. В бешеном потоке

реальностей человеческого бытия постмодернистская мысль удерживает себя представлением, что есть только то, что ничего твердо устанавливающегося человеческой историей нет. Эссе свободно в движении мысли, которой ничто не мешает делать намеки, расширяя этим содержание представлений без претензий на истинность своих утверждений, но своей стилистикой так или иначе подталкивая к поиску там истин.

Эссе, чувствуя влияние на своей внешней стороне действие постмодернистских идей, сохраняет в себе интенцию найти истины — как в отношении обсуждаемой действительности, так и своего внутреннего метода, безразличного к своей текстуальной форме. Эссе несет в себе побуждение к задумчивости, если само внимательно к смысловым определениям терминологии, — внимательно с тем, чтобы не дать читающему уму выйти в произвол своей собственной смысловой неопределенности.

* * *

«Ни вывихи истории, ни ожесточенные идеи сбесившихся маньяков, ни эпидемические безумия — ничто не вытравит в людях человеческое. Его можно подавить, но не уничтожить. Под спудом в каждом нерастроченные запасы доброты — открыть их, дать им вырваться наружу! И тогда... Вывихи истории — народы, убивающие друг друга, реки крови, сметенные с лица земли города, растоптанные поля... Но историю-то творит не Господь Бог — ее делают люди! Выпустить на свободу из человека человеческое — не значит ли обуздать беспощадную историю?» [1, с. 357].

Обыденное сознание привыкло к различению понятий человека и истории, и человеческое может показаться изначальным. И попытки теоретической мысли высветить истину человеческого бытия тут становится делом напрасным, поскольку сама мыс-

лящая способность становится сомнительной. Ибо она допускает ложное утверждение о бытии человеческого до человеческого. И если эту изначальную суть человека «выпустить на свободу», как пишет писатель, человек глубокого ума, тогда историю с вывихами и маниакальными идеями ее творцов можно обуздать — и тем самым дать человеку человеческое счастье. Давно замечено и сегодняшним умом понять можно, что историю-то делают не только безумцы, «убивающие друг друга», и даже не Господь Бог, а *люди*. Но где-то же человек должен сказать себе, *как* строится эта история?

Писатель, даже такой как Лев Толстой, не пишет историю, он пишет экзистенциальное бытие человека, он ищет пределы индивидуально-личностного бытия, и такой угол зрения, конечно, историю понимает как нечто *внешнее*. Но и такое представление об истории в уме человека тут же вдруг разрушается и начинает выглядеть неким *внутренним* условием бытия человека, эти условия созидающего.

Много тех, кто лишь взывает к условиям, которые вот якобы и обеспечат сами по себе счастье смыслового человеческого бытия. Умный писатель обрубают эти завывания своим умным утверждением, что историю делают сами люди, и нечего тут слюни пускать. Человек, прорастающий в бытие, начинает являть себя многоликостью, а при многоликости такой художественных красок не хватит это обстоятельство выразить. Откуда являются многообразные страсти? А, с другой стороны, утомительное спокойное спокойствие без каких-либо там интенций к историческому творчеству, — все это опять начинает выглядеть имеющим доисторические начала.

Все эти многообразные представления о человеческих характерах кто-то как будто выпускает из мифического ящика Пандоры. Древнегреческие мифы остались далеко

позади, нынче мифы новые, и писатели вместе с читателями сегодня совместно трудятся над созданием новых мифов. Где обходятся без Богов с их перепутанными, но прозрачными отношениями, — но творят новую бесознательную мифологию представлений, оставаясь быть далекими от научных понятий человека, свободы, истории и т.д. Здесь богов как будто нет, но в столь же «божественно-мифической» перепутанности теоретических понятий, разумеется, никакой прозрачности нет. Как будто пренебрегают простыми правилами формальной логики.

Кто-то от науки считал и, говорят, насчитал более двухсот пятидесяти определений личности. Греческая мифология древней истории споткнулась бы о такое обилие безумствующего ума и поспешила бы в философию с ее требованием понимать вещь из ее собственной природы. Алексей Лосев нашел, что все есть миф. Мировое общественное умонастроение, получившее название постмодернизма, не без оснований плюнуло на возню вокруг неопределяемых понятий, заплевало перепутанность истины и лжи до их неузнаваемости. И какое сознание тут в чем разберется, если оно, это сознание, как остроумно говорит Юрий Буйда, верит в любую мистифицированную фантазию, но сомневается в существовании китайцев?

Экзистенциальный интерес глубже экономических реалий, психология самосознания глубоко вошла в художественное творчество, и литература стала значительно более глубокой и всесторонней психологией личности, нежели психологическая наука. Но создать более прочную основу многообразного содержания таинственной души попытался экзистенциализм, который, как философское направление, взял в качестве метода метод свободного искусства, литературно-художественную форму.

Тендряков в чем-то наследует методу Достоевского, концентрирует художественной

формой растянутые во времени и разбросанные в пространстве реального бытия индивидуально-человеческие неспешные действия и личностные безотчетные поступки, — чтобы не только показать читателю проблемность человеческого бытия, но и измерить умом его, этого бытия, объективные пределы. «Многие люди в течение нескольких десятилетий громоздили поступочек на поступочек, сооружали преступление. Кто-то из этих людей давно исчез и забыт, но кто-то и до сих пор жив-здоров, даже признается и раскаивается в невольном участии. И ни одного из этих людей нельзя поставить перед лицом правосудия — не ведали, что творили. Обвинять их так же нелепо, как обвинять молнию, спалившую дом, ураган, потопивший корабль, снежную лавину, похоронившую под собой путников, — явление столь же стихийного порядка» [1, с. 464]. Бессознательные, стихийные творения сгущаются в своих результатах, создавая собой сплошную основу индивидуально-личностного проявления, где позиция личности сама теряется в своих осмыслениях и оценках самого себя. И тоска по прозрачному мифу становится естественной.

* * *

Тоска по тем условиям, где совесть чиста. А чистая совесть, сказал когда-то Сенека, есть праздник. Постоянный.

Нравственное самосознание, отличающее Я от действительности, глубочайшим образом связано с сутью человеческого бытия. Это всегда внутреннее активное соотношение своего движения с движением бытия, во всем его многообразии. Такое соотношение, т.е. согласование и противодействие, есть мышление, которое, *в форме совести*, живет только в чувственной рефлексии всеобщего способа человеческого бытия. И одновременно, рефлексии своей собственной субъективности, своего Я.

Настоящую жизнь, в отличие от отвлеченных фантазий о блаженном безделье бесконечного бытия в раю, религиозное представление перемещает в ад. Ад — это вечная жизнь в формах, которые освоены на земле, и это выглядит преимуществом перед той земной историей, где любая индивидуальная субъективность начинается с начала и в своей судьбе много чего не успевает. Каждый начинает с объективного начала субъективности. В адовой жизни ни у кого нет необходимости свою жизнь начинать, все начато и завершено, ад только проявляет содержание и смысл земного бытия. И человек, фантазируя ад, смотрит в себя, чувствуя и понимая, что эта фантазия — всего лишь предельное представление своей реальной жизни здесь и теперь. И мыслит его только в бесчеловечном его содержании. Данте показал круги ада, отделив адовое бытие от сохраненных божественных представлений. И адская сторона земной человеческой жизни кажется человеку вечной и трагически неизбежной.

Ум думает то так, то этак и не делает своей целью сохранять в душе истины, он их будто бы находит и спешит дальше. А совесть как будто только сохраняет глубокую мудрость познанной жизни, как будто служит только опорой рассудительному поведению. Когда нарушается порядок в объективной действительности, совесть тревожится, а немая душа живет в согласии с этим беспорядком. С такой душой, лишенной ума, нелегко найти свой путь в пространстве неэвклидовых геометрий человеческой жизни.

«Все мы, брат, понемногу торгуем, все ворует полегонечку! <...> И все мы молчим, как быки... однако ворует! А что ворует? Ворует все: мозг, сердце, мускулы!...» [2, с. 263].

Неужели все это — без ума и без совести? Вот любопытное наблюдение другого писателя: «Из поколения в поколение товары, которыми торговал этот род, менялись, становились все более ценными; они начали с растительных

масел, соли и муки, с рыбы и сукон, потом перешли к вину, а от вина — к политике, после этого дела семьи пошли под гору, и они занялись маклерством — по купле и продаже земельных участков; а сейчас мне иногда кажется, что они торгуют самым ценным товаром — богом» [3, с. 23]. Давно замечено, что совестью торговать выгоднее всего. Это все равно что и богом торговать. Ибо в нравственном смысле эти «вещи», бог и совесть, совпадают.

Нравственность, то есть человеческое личностное содержание, осуществляется в различных сферах и делает себя прозрачной для себя. У самосознания всегда есть критический момент. Разнообразие поведения людей — от предельной зависимости их действий внутри обстоятельств их бытия до самоубийства, — это разнообразие приоткрывает широчайший спектр экзистенциального содержания субъективной сферы человека.

Некий умный человек говорил, что весь мир живет сплетней, и нет ничего более истинного, чем их содержание. Этим он выразил позицию идеализма, стихийно утвердившуюся в обыденной жизни, где любого домысла достаточно, чтобы на него опереться в жизненной позиции. Если посмотреть на образовательную практику в мировом масштабе, не стоит удивляться слабости, способному только к перечавкиванию сплетен. Сегодняшняя общественно-политическая жизнь, углубляя явления, отраженные в сплетнях, превращает в реальность любую сплетню, четко выражая ее понятием *фейка*. Вползая умом в хитросплетения общественного человеческого сознания, чувствуешь необходимость под ногами найти хотя бы болотную кочку в качестве опоры.

Мир теряет совесть, мораль умирает вместе с богом, вспомним Ницше, в буржуазном мире торгуют всем, что есть и чего нет, всеобщая проституция становится нормой. Мошенник лезет в тебя и, обняв его теряющей совесть душой, он становится близким,

понятным, с прозрачной мерой недоверия. Становишься уверенный в себе типом человека с умом и без совести. Но верить богу становится надежней, чем кому-либо из людей.

Педагог в повести Тендрякова думает, «что от него идут в большую жизнь духовно красивые люди, не способные ни сами обижать других, ни мириться с обидчиками, не терпящие подлости и обмана, сознающие свое моральное превосходство. И те, с кем будут они сталкиваться, невольно начнут оглядываться на себя. В любом человеке таятся запасы человечности» [1, с. 359].

Совесь определяет путь к истине, — но только тогда, когда *она думает*. Думающая совесть кажется, конечно, неким кентавром, ведь она всегда, когда в себе, спокойна и уверенно-неподвижна в представлениях о столь же неподвижных истинах. Даже дети понимают, что совесть не думает, она бессознательно знает истинную чистую форму бытия: как оно все есть и как должно быть. Пытающийся думать ум, не понимая сути дела, обращается для оправдания себя к заумным представлениям обыденного сознания. Его опорой становится то душа, то ее совесть, то уверенная вера в бога и т.д. Обыденное сознание много чего в себе несет, и многое в его мусоре даже освящено. Совесть — это неподвижный момент углубленной в себя души, ее ума, нравственный хранитель истины. Неустойчивое тождество совестливой и думающей души, двух форм активного отношения к миру и к себе — неустранимый момент человеческого Я.

* * *

Смотрите, что говорит хороший и красивый человек, офицер, честный и гордый, — как отражение русского офицерства, прописанного в художественной литературе. Писатель, сознательно утверждающий высокие чувства в человеческой жизни, — ненавидя

и негодуя против всякой фальши. И всякой бесчеловечности. Виктор Некрасов. Определявший свою судьбу сам. Свободный человек. Его насильственная эмиграция только подтверждает этот факт. Вот о нем: «Он без боязни старался поддержать попавших в немилость деятелей культуры. Главным для него было протянуть руку упавшему, защитить попавшему в беду независимо от его значения и общественного положения. В трагической судьбе Виктора Некрасова, как и в судьбах многих «детей оттепели», непрекаемая власть чиновников была в сотни раз сильнее гражданского мужества «шестидесятников» [4, с. 388]. Его знаменитая повесть «В окопах Сталинграда» покорила мир. Лауреат Сталинской премии. И, говорят, диссидент.

Но как же влезть в душу человеческую, чтобы определить ее во всей конкретной полноте? Ведь, говорят, душа потемки. Не увидишь в ней того, что там есть, пока не пройдет она через удары судьбы. Пока какой-то из них не высветит всего тебя. Ни ты сам, ни кто другой не знает, что таится в ней, чем она высветится или отчего почернеет. Легко представить, что происходит, когда об одном и том же человеке судят разные люди! Человек не квадрат и не куб, у него бесконечное число граней и углов, — как будто геометрическое движение к шаровидной форме. Тендряков, как писатель, исследует все отношения проявлений человека к обстоятельствам бытия, к другим людям и к самому себе, но экзистенциальная философия старается заглянуть глубже, увидеть *природу смысловых определений* индивидуально-личностного бытия человека. До определений истории как родового пространства человеческого бытия, однако, еще далеко.

Одностороннее суждение Гегель назвал абстрактным мышлением. Но пробиться умом к определенности конкретного Я, того принципа, который развивает и синтезирует

все определения личности, — на этом пути даже теоретическая наука спотыкается. А абстрактно-обыденное (поверхностное) мышление норовит язык вырвать всякому инакомыслящему. Разумеется, без способности критично отнестись к себе.

Судьба Виктора Некрасова толкуется как трагическая. А трагедия будто бы всегда в силе «непререкаемой власти чиновников», которая «была в сотни раз сильнее гражданского мужества «шестидесятников». Не только из уст обывателя, но и ученого аналитика сквозь плач слышим негодование в адрес несущих трагедии начал. Недалекий ум таких начал указывает столько, сколько может выстроить их умственная беспомощность. Некрасов, определился в общественном сознании еще и как диссидент. Потому что иначе думает. Но ясно, что истинная мысль в своих суждениях имеет место только там, где сама форма мысли определилась и высветилась как истинная. Естественно, поиск этой истины без разнообразия суждений не обходится. Если же эти суждения не организованы единой идеей обнаружить истину, то грош им цена.

Однако, где же вы увидите такое мышление? Может, в «однозначной» математике? О которой я знаю, что она ни капельки умного не может сказать о моей душе. Но ведь и для меня, как и для каждого, моя душа потемки. Если чуть задумаюсь. Но ведь норовлю каждый раз высказать свое суждение с претензией на абсолютное определение, претензией, подхлестнутой тайной жаждой урвать кусок «побольше» от ляжки буйвола. Ужели так?

Ужели в этой тайне прячешь свое «быть» и начинаешь «казаться»? Лжешь себе. И неужели любой в окружении подобных мне, который сам себе *лишь кажется*, без оглядки на себя плюет на *принцип ума* и в ярости буйствует, — пока не оторвет всю ногу буйвола. Как же тут ведет себя совесть, — тут, внутри

бытия, которое, скорее, тоже лишь кажется? Кажется то ли истинным бытием, то ли старается таким только казаться, совестью чувствуя в себе фальшь. Этаким совершенно живой и непустой фейк.

А чуть ум всмотрится в себя, как начинает тонуть в ужасе, который даже в фильмах ужаса нельзя описать. Франц Кафка, Чарльз Быковски, Федор Достоевский всмотрелись в эту, — будто бы свою, — душу, а увидели действительность, из которой вырастают и чувства, и разумение. И поразились вместе с человечеством. И первое из этих чувств — изумление. Все мировое искусство вычерчивало образ этого человеческого бытия, художественно воспроизводя его, этот человеческий образ, в материи вещества, в пространственных образах, в живописных полотнах, в пластике тела, в графике слова, в звучании звука. Люди в этом зеркале, в искусстве, конечно, видели себя, но обвиняли искусство — в односторонности, абстрактности, неадекватности, обзывало этот образ то реализмом, то неореализмом, то модернизмом, то сюрреализмом, то натурализмом, то грязным реализмом и т.д.

Ибо во всем виделась односторонность. Та самая односторонность, которая выражалась через суждения. Хотя в искусстве будто бы выражено было в форме чувственной конкретности. Выраженной в объемах и плоскостях, в звуках и визуальности и представляющей в реальной неподатливости.

Насколько искусство может дать мне полноту образа воспроизводимой действительности? Эстетическое суждение имеет под собой некую неопределенную определенность, обозначающую то художественным вкусом, то чувством красоты. А то и просто целесообразностью жизненной позиции времени. Так называемая интеллигенция суетится с пеной у рта над утверждением истинности своей позиции, оттеняя, проясняя, преобразуя и — о! — находя новые смыслы

того, что было создано и как будто без воли и ума сейчас проявилось. «Аутично» углубляясь в них, в эти смыслы, и создавая тем самым новые направления раскопок человеческой души. Всегда доходя до каких-то пределов. Кто до «точки», кто до «квадрата».

А таинство души столь велико, что даже в черноте «Черного квадрата» обнаруживается свой смысл, невидимый якобы примитивному мышлению и чувству. Услышав просьбу нарисовать боль, шестилетняя девочка без великих размышлений над идейной стороной человеческого бытия в один момент изобразила лик в черных слезах, по левой щеке ручейком стекающих на плечо. На любопытствующий вопрос взрослых относительно этой детали, она сказала, что совсем и не хотела этого делать, ручеек оказался делом самой краски: девочка не умела еще выдавать такие вещи за дела Бога, который якобы водит рукой творца-художника. И об этой боли в художественном образе, произведенном ребенком, можно говорить не меньше, чем о печальном лице Христа и слезоточащей Мадонны, за тысячелетия многообразно проявившими себя в истории искусства. Не меньше, чем о черном квадрате Малевича.

Как становится личность Виктора Некрасова, в чем-то, несомненно, таинственной и для него самого? Как его образ прорисовывается для нас? Конечно же, не только художники и писатели, — живой «скульптурный портрет» его души вылепило его окружение. Обстоятельства, в которых он рос. Но, точнее, его собственная активность внутри доступной жизненной действительности. Он ударялся о разные ее углы. Киев, Париж, высокая культура, образованная среда.

Его, Некрасова, судьба — это не судьба тех, кто рос в условиях, где вся доступная «публичная» библиотека состояла из двух полок. С одной, «взрослой», книги давать никак не хотели, а детская полочка не выходила за рамки сказок про ежика с зайчиком. Мне

в двадцать лет впервые случилось услышать имя Гегеля. Чуть раньше по случайным обстоятельствам оказался на могиле Канта. Но именно они, эти люди, имена которых значат не просто людей, а эпохи в развитии человеческой культуры, именно они впоследствии помогли мне, и без того сомневающемуся во многих навязываемых образах, осторожно судить о вещах, глубина которых неведома. Но ощущаема. Воссоздавались образы реальной немецкой культуры, воображением изпод развалин Восточной Пруссии росла мощная красивая европейская архитектура, представлялись довоенно-мирные с непонятным языком люди в этих домах и парках.

И ведь, казалось бы, странно, не возникало ни зависти, ни ненависти к немцу как немцу. Наоборот, было что-то загадочное для детской души, ощутившей войну только через боль голода. Никто не учил обвинить кого-то в этой мировой трагедии, да и сама трагедия была не видна детскому просыпающемуся уму. Не появилось такого обвинения ни немцу, ни немецкой нации, не появилось и ненависти за разорения и убийства миллионов. Может, по причине неразвитости детской души, не ведающей мировых проблем и исторических трагедий. Эти вещи и с умом Гегеля-Маркса не так легко понять. Не случилось и зависти к величию германской культуры. Может быть, по той причине, что в душе не возникало это нехорошее чувство зависти к чему-либо вообще.

Но вот говорят, будто, возвращаясь из повергнуто Германского рейха, вдумчивые советские победители надолго сохраняли в себе чувство недоумения, видя великое различие в уровне материальной культуры Германии и своего Отечества. Не случилось им до боевого освободительного похода знать, каков мир. Поход Александра Великого на Восток на многое тоже раскрыл глаза. Неужели во всем, что постигаешь, надо испытывать своей шкурой? И шкурой миллионов поги-

бающих в такого рода мировых испытаниях? Философский сенсуализм, кажется, давно обнаружил свою несостоятельность, посрамил себя и опыт без ума. Конечно, можно сказать, что ум человеческий не успевает за своей собственной историей, «практика показывает», что истинно, что ложно и по какому пути надо идти. Но как будто и очевидно, что мысль выходит за рамки опыта и способна этот опыт определить, задать ему направление и форму. Да и опыт ума наработан историей далеко немалый. Но как просто сегодня видеть, что народ толпами проходит мимо культуры! Что существует глуповатая манера *обмениваться опытом*, опытом чего угодно, кроме опыта мысли. Мысли исторической. Потому и глаза на лоб лезут, лезут от удивления, как это столь культурная Германия утонула в фашизме!

Среди разбросанных книг на немецком языке по земле Восточной Пруссии бродили полуголодные немцы, не сумевшие покинуть свои места. Книгами топили печки, непонятные в своей конструкции здания разрушались на материал выстраиваемых «русских изб». Франц Кафка с его почти болезненным, тонким и рвущимся восприятием мира — даже представить не могу! — в каких формах увидел бы он этот великий всплеск мировой трагедии? Я своей детской душой лишь стихийно наполнялся осколками разбитой цивилизации. Не умея и не чувствуя еще мотива воссоздать ее истинный образ. И играл со сверстниками «в войну», прячась за башней развороченного «Тигра». Позже, в университете, я неоднократно спрашивал у профессоров-историков, читавших нам лекции по мировой истории, об истории Восточной Пруссии, — потому что уже недетские глаза стали там видеть не только «эхо прошедшей войны». Помню их, этих профессоров, что-то как будто скрывающие улыбки и хитроватый уход от вопросов.

Я по сей день ищу пределы человеческого бытия, а потому и пределы личност-

ного развития индивида. Как *ничто* наполняется *всем*. Как все в этом ничто становится Я. Как Я становится точкой отсчета всех своих действий. Точкой *ничто*, разворачивающей силу бытия, точкой в своем движении, в траектории своей жизни-судьбы. Точкой, сопрягающей себя с абсолютным началом человеческой жизни. То самое человеческое Я, в котором любой модус его действия проявляет собой абсолютное и не допускает никакой односторонности в качестве принципа. И любое абстрактное суждение не позволяет принимать за истину.

Виктор Некрасов, чтобы уметь утверждаться в себе, мог бы почитать если и не Логикку Гегеля, то хотя бы его памфлет «Кто мыслит абстрактно?». Чтобы не упорствовать в мысли, что «перед тобой, в кожаном кресле сидит убийца, самый страшный из всех убийц, которых знало человечество» [5, с. 335]. Это не удивляет с языка обиженного мелкого лавочника. Односторонность суждения всегда связана с односторонностью своего отношения к действительности, своего чувства, с отсутствием позиции объективной истины. Абстрактная, односторонняя мысль характеризует субъекта мышления, явно полнее, нежели его предмет. Конкретность мышления выражает полноту необходимых и всеобщих определений сущности мыслимого предмета — без того, чтобы тонуть в случайностях преходящих особенностей. Если я определяю квадрат, то фиксирую только необходимые и достаточные признаки замкнутой выпуклой четырехсторонней плоскостной фигуры. Указать в определении, что квадрат еще черный и, например, большой, — это от глупости, и глупость эту замечает не только математик. В пространстве эмпирического бытия «безумный ум» из любого определения такую икебану устроит, что никакая вещь — дай бог ей способность самосозерцания — саму себя не опознает. В основании такой ситуации надо всегда искать интерес, и если

есть еще особый интерес ввести в заблуждение, то сознание наблюдающего человека от напряжения сдвинется в уме. Интерес, определяющий конфигурацию мысли, разукрашивает эту свою мысль соответствующими эмоциями. Ворох трепыхающейся чувственности, вываленный в слова, этот интерес будет представлять конкретностью, и квадрат он подаст не в форме квадрата в его математическом определении, а так уработает своим поносом, чтобы во всем этом всяк увидел «его истину». Разумеется, этот бред будет представляться позицией совести. И обязательно якобы ясной и прозрачной, будто бы очевидной для всех в своей гуманности и справедливости. Разве найдется такой, кто за ядовитой фразой Виктора Некрасова не увидит, скажем, Сталина? Но эта фраза характеризует не только Сталина, но и, как мы уже, надеюсь, понимаем, и автора этой фразы.

Что случается с мышлением интеллигента-писателя? Более того, с его собственной реальной позицией в жизни. Любая односторонность жизненной позиции понятна, она всегда классовая, завязана на интерес, господин мыслит не так, как раб, подняться над классами без ума нельзя, а потому и нельзя снять сознательным образом классовость в общественном бытии — как общественно-историческое явление. Интерес ухватится за любую фразу из любого зевала, в которой увидит свою позицию. Но чтобы мышление заняло позицию надклассовую, ему надо самого себя поднять до способности глубокого теоретического мышления. До марксизма надо дорасти. Это значит — до способности выявлять и удерживать взаимосвязь противоположных определений внутри человеческой истории. До способности своим движением разрешать противоречия исторического движения. В истории, как везде, постигающее мышление должно развернуть бытие человека из его собственного основания, и глупо допускать в

этот процесс алчно-вожделирующее созерцание того или иного интереса. Истина была впервые обозначена античной философией как принцип ее собственного мышления. Видели, как разделяются позиции по приписываемым Сталину определениям, характеристикам? Видели отсюда вырастающий мордобой?

Именно такое недомыслие, такая абстрактно-односторонняя позиция, явно проявляющая умственную культуру человека-писателя, человека, в культуре проросшего, не может не вызвать недоумения. Почему? Да потому, что ум, если это ум, держит существенное определение человека, как математика определение квадрата, а не цвет волос или кожи, не его преходящие чувства и случайные суждения. Твоя человеческая определенность не завершена, позиция твоя не нащупала абсолютные начала человеческой жизни, и потому ожидать от тебя можно любые прыжки по разным направлениям.

Кафка видит, откуда прорастало его, Кафки, чувство, и ясно отделяет его, это чувство, от мысли. Но вопрос, чтобы понять писателя Некрасова, заключается в том, откуда растет мысль как таковая и почему она попадает в тупик недомыслия. Чувство, возникающее в непосредственных условиях бытия, не отягощает себя исторически развитой диалектикой, и потому не может стать *историческим человеческим чувством*, — вне его культурной обработки силой исторической логики и чувственных воплощений в искусстве. Вокруг Некрасова были горы ума, не две полочки с пустяковыми книжками, он жаждал делать добро, крест свой тащил, был распят.

Но не воскрес Богом. Абсолютное, универсально развитая личностная форма, остались за рамками ума, те горы премудрости, на который ты вкатывал камень бытия, не достигали неба, с их вершин ты умом своим не увидел чувствуемый идеал (хотя ведь был коммунистом!), все остановилось на требо-

вании быть добрым, быть справедливым, честным и т.д. Абстрактными мерами этого рода ты измерял людей. Ты требовал от них той меры, которую носил в себе. Этим, конечно, ты похож на Христа.

Но абстрактными истинами усыпана дорога в ад. Требования человеческой истины, к которым взывали все гуманисты, в веках остаются бессильными. Это позиция, где каждый считает себя непорочным и даже «темную» свою душу видит святой. И сознательно или бессознательно навязывает образы своей «чистой» души всем и каждому. Посмотрите на борьбу религиозных конфессий. И каждая сторона, конечно, выступает от имени добра и всяческой человечности. И разумеется, не без апелляции к Богу. Можно, конечно, утопить любое противоречие в политической и культурной толерантности. Ведь торговли-то на базаре тоже договариваются. При всей абстрактности их мышления и обильной слюне в базарных баталиях.

А из темной глубины души, где уплотнилась боль окружающего мира, — из этих глубин индивидуальных душ, так и лезет какое-то неясное ощущение, похожее на бунтарское желание произвола. Неясное чувство тут впервые прорывается в мысль. Жуть берет видеть этот мир. Даже из кабинета. А когда смотришь на этот мир из окопа, душа холодеет от жуткого ощущения вселенских катаклизмов.

Любая власть, господствующая надо мной, только потому и господствует, что у меня нет ни силы, ни ума господствовать над собой самому. И убийца есть убийца только потому, что ты такой, какого требуется убивать. Дело палача без этого не возникает. Гадкая профессия, но банально понятная. Такой профессии легко научаются там, где буйволу отрубает голову, спускают его кровь, на которую с ковшом бросаются столь же исторически возникшие кровопийцы. В детстве мне случилось увидеть человека, испивающего ковшом кровь забитого животного,

и страх перед тенью этого наполненного упрямыми человеческого мира надолго поселился в душе: сказочные воображаемые монстры обрели земной человеческий вид, и только значительно позже я понял и увидел, что эти чудища повсюду бродят среди нас. Это те самые невидимки, с которыми приучают жить в согласии с самого раннего детства.

«Просунув электрод между прутьями ограждения, он тыкал им загривки коров, которых выгоняли из коровника. Получив удар током, испуганные коровы бросались в паническое бегство, натываясь о торчащие прутья. В конце коридор резко поворачивал и сильно сужался. Корова, чтобы протиснуться через это сужение, замедляла бег. Миновав его, она выходила на бетонированную круглую площадку. Посреди нее стоял Анджей в том самом кожаном фартуке. На руках у него были длинные, до локтей, черные перчатки. В правой руке он держал тяжелый молот из тех, какими вбивают колья в землю или дробят щебень. Когда корова появлялась на площадке, Анджей одним могучим ударом молота между глаз разбивал ей череп. С каким-то жутким хрипом корова рушилась на бетон. Из ушей, а иногда и из пустых глазниц, если Анджей наносил неточный удар, у нее текла кровь, перемешанная с сукровицей и слизью из разбитых глазных яблок» [6, с. 265].

Чувства человеческие так выстраиваются действиями человека, что человек легко и профессионально овладевает действиями такого рода: способ действий и со вмещенные с ним чувства, настолько срастаются, что бить молотом можно, не различая голов. Молот имеющего власть чиновника тоже не различает лиц. Это, конечно, не совсем профессия палача, но при встрече каждый раз в душе что-то обрубается. «Чинотом от ума избавлен» (А.С. Пушкин), но в действиях государственных органов представлен интерес общественного бытия и чувства вместе с умом каждого

отдельного человека здесь сняты и их способности должны быть адекватны формам государственных общественно-политических структур. Можете себе представить эмоциональные взрывкивания и крики ума утонувшего в бытовых проблемах индивида перед строгим ликом государственного чина?

Чем содрогалась душа Виктора Некрасова, когда он сам из окопов Сталинграда убивал людей? Ведь была некая совмещенность лично-индивидуального чувства и чувства ответственности за свои действия. Без ссылки на обстоятельства, а только внутри совести. Тут *убиваешь человека во имя человечности*, — и это твое убеждение давно согласовано с позицией всеобщих в тебе идей. Потому есть основания ненавидеть немца, идущего с автоматом по чужой ему земле: фашизм тебя, немца, бросил под Сталинград, а у тебя ни ума, ни сил не хватило сопротивляться. Потому в сталинградских окопах Виктор Некрасов убил тебя.

* * *

Да, даже те, кто сам во власти, ненавидят власть. Потому как они не только властвуют, но и живут под властью. Потому сами ищут такой власти, которая освободила бы их от бремени властвовать и власти подчиняться. Иначе говоря, ищут свободу.

Исторический ум где только ни пытался искать начала власти и начала свободы. И в животной зверино-хищной природе, и в божественном благоволении. Я уж не говорю о таких «мелочах», как либидо, биогеохимическая энергия, архитектоника мозга и т.д. Воля к власти была и остается большой темой не только так называемой политологии и патопсихологии, но и тех, кто желает поглубже всмотреться в мир.

Исходя из той позиции, где в центре индивид, можно было бы подумать, что индивид, не чувствуя возможности управлять собой, передает свою власть над собой (сво-

боду) другому, который теперь присваивает себе силу другого.

Что, собственно говоря, и делается в так называемых демократиях. Индивид, не желающий это делать, противопоставляет себя власти как общественной форме господства над индивидом, и ничто мне не мешает назвать его диссидентом. Он желает быть индивидуально свободным. И не только власть, а и все прочее, как в кантовском примере, где для птицы воздух есть препятствие ее свободе. И из всего того, что он имеет перед собой, он выбирает то, что более всего соответствует его принципу. Ищет этого соответствия во всем доступном ему мире.

Но из этого мира, от которого он бежит, через забор, вдруг лезет рожа того, кто в твоём огороде увидел вождя буйвола. И омрачается твой уют, и ты понимаешь, что для счастья в своём безмятежном мире тебе нужен танк.

Идея свободы, постигнутая в истине, требует преобразования условий бытия. Что, как понятно, никогда нельзя сделать индивидуальным образом. Форма совместного преобразования условий своей *совместностью* цепляет упомянутые «углы» души, здесь начинаются конфликты, отсутствие взаимопонимания. Но и пресловутая толерантность, внешняя форма этого взаимопонимания, рассыпается, как только глаз обнаружит, что туша буйвола исчезает в чужих желудках. И тут прорывается такой протуберанец эмоций, что хоть семи пядей будь во лбу и «неисправимо» добрым, схватишь ближайшую ракету и наведешь ее навигатором науки на этих алкающих хамов.

Казалось бы, это простая и понятная схема, подобное которой историческая мысль рисовала не раз. Она исходит из головы, из простой рассудительности обособленного индивида, и каждый ей рукоплещет. Даже со ссылкой на Черчилля, который якобы утверждал, что ничего лучшего, чем

эта демократия, пока история не нашла. А коли так, то и сетовать бессмысленно. Но Черчилль хорошо понимает, что правит он не силой отданных ему голосов, а властью тех условий и обстоятельств, которые он без всякого голосования держит в своих руках, а через них, через эти условия, — и каждого. Вместе с его душой и потрохами. Да и голоса через эти же условия отбирает. Чтобы показать легитимность своих действий устраивают вокруг выборов и арифметики голосов такие баталии, что глаз обывателя, удивленный и возмущенный, поведется за любой риторикой на года. Но великие вопросы истории, говорил Бисмарк, решаются не голосованием большинства, а огнем и железом. Крутоват, скажем мы, мямлющие о гуманизме, был канцлер.

Маркс впервые (мы, конечно, помним, что Аристотеля он тоже знал) определил человека как общественное существо, и мера всех его способностей потому определяется развитием общественного бытия, формой отчуждения и присвоения условий от конкретного индивида. И власть возникает и развивается именно как общественная форма в условиях этого противоречия. Чиновник — жуткое существо, задушите одного, другого бюрократа, обвините его в бессердечии и тупости, тем вы не измените форму общественного бытия. В современном миропорядке даже Дон-Кихота не разыграете. Не получится и Робин Гуда, и пушкинского Дубровского. Слезливой просьбой по каналам телевидения помочь увечным детишкам человечество не спасете, но на масштабное мошенничество намек создадите. Умная индивидуальность нужна, но развитие ее лежит на пути осуществления объективно-человеческого исторического идеала. Можно и нужно это делать путем присвоения исторического ума — ума Платона-Гегеля, Маркса-Ленина, но в полной форме отчуждение снимается только через преобразование общественного бытия,

задающее для каждого равнодоступные условия ничем неограниченного развития любого индивида. Тогда форма разума становится всеобщей и необходимой.

Упрямая позиция «свободного индивида» видит в этом процессе место убиения не только буйволов для своего стола, но и людей, ввергнутых в трагический круговорот исторических событий. Неужели некая простая злая воля придумала эшафот и изобрела гильотину? И создала школу палачей? И будто бы один гениальный палач, одиноко сидя в кабинете с трубкой во рту, с ухмылкой и наслаждением убивал миллионы людей. Но не забудем: короля делает свита. Но чтобы эта мысль не осталась плоской банальностью, надо, конечно же, иметь способность в логику предмета заглянуть.

* * *

Давно замечено, чем меньше мысли, тем больше дури повторять дурь. Посмотрите, как повторяется мысль Виктора Некрасова Людмилой Улицкой. «Роман Гузель Яхиной — вне всякого сомнения — женский. О женской силе и женской слабости, о священном материнстве не на фоне английской детской, а на фоне трудового лагеря, адского заповедника, придуманного одним из величайших злодеев человечества. И для меня осталось загадкой, как удалось молодому автору создать такое мощное произведение, прославляющее любовь и нежность в аду...» [7, с. 6]. Была бы умнее, загадки бы не было. Ибо роман не о любви «на фоне».

Но я не о романе сейчас. И даже не о глупости определения его как женского. А об истории, о трагической судьбе человечества. Судьбе его саморазвития — от формы животности к свободной личности. И о том, почему свобода выворачивает себя в таком труде. В такой действительности, которую Улицкая называет адом. Может, она не знает про урановые рудники, про тех, кто там, не видя белого света, дает ей свет и энергию цивилизации,

трудом которых и иже с ними живет человеческая жизнь (далеко ведь не только мясом буйвола! Труд, по Марксу, есть субстанция истории общественного бытия)? И кажется, чтобы «умная» Улицкая поумнела, поехать бы ей, — нет, не по воле Сталина, а по своему *свободному буржуазно-демократическому выбору*, — даже не обязательно на лесоповал (студенческие отряды в недавние времена туда толпами и с великой охотой ездили), — поехать бы ей — ну хотя бы на полгода! — постоять на конвейере скотобойни и каждый день по восемь часов обрубать там убитым быкам яйца. Вы можете представить ее гримасу, исполненную морем «гуманистических чувств»? Догадываетесь, как взиграет ее самосознание, выбитое за рамки свободы жить во дворцах, как изменится ее представление о природе человека, об естественных якобы индивидуальных различиях, одаренности одних и природной бездарности других, о собственной самоидентификации — ведь она же создана не чтобы в тошнотворных запахах свежего мяса часами, неделями, годами какой-то там гуманизм утверждать, а творить «высокохудожественные» произведения, подвигая читающую публику к «буржуазно-либеральным демократическим ценностям». Ибо она по своей генеалогии, антропологии, по космической, в конечном счете, судьбе и родовому генофонду белая кость с голубой кровью и создана не бычьим яйцом рубить, а вкушать их на серебряном блюде с жеманностью своего величия. Этак оттопырив мизинчик и подоткнув салфеточку в люминиструющихся пространствах цивилизованной жизни, созданной трудом шахтеров в урановых рудниках. Как добровольных, так и «невинно» заключенных. Вчера предателей, сегодня святых. Вчера спекулянтов, сегодня банкиров.

На каком параде, в Киеве или Москве, она предпочтет пройти? Есть ощущение — в Киеве с фашистами, в Москве — с патрио-

тами. Но нигде с коммунистами.

Воры, вполне совмещая воровство с совестью, не желая копаться в бычьих кишках, но сохранять гуманно-возвышенную позу, начинают не видеть тех, кто добывает им из земных недр уголь, а из буйвола — вырезку. Но чтобы растолкать у корыта других, будут взывать к справедливости, равенству, гуманизму и демократии. Чем больше пены, тем заметнее спрятанное в душе оправдание своего паразитизма. Доходящего до патриотизма. Заигрывая, законодательно и легитимно чавкают их плоть.

«О боги и богини, как тяжело придется живущим не по закону: они всегда ждут того, чего заслужили» (Петроний Арбитр). И в страхе этого ожидания спешат скорее тайно заложить *любого другого* и, выжив этой подлостью в человеческом аду, в *другое время* открыто-публично обвинить того, *кому и кого* закладывали.

Вот он маразм человеческой действительности, которого не встретишь в мире животном! И как тут не появиться желанию, вырастающему в целую отрасль промышленности, — желанию раскрасить себя так, чтобы *казаться другим*. Из другого мира. Где якобы не воняет разложением и где будто бы только и существует человеческая культура. Не из этих ли «свобод бытия» вырастает «черный реализм» Чарльза Буковски? Как такой позиции дойти до истины бытия, ведь это не просто глупость, а изворотливая рожа с рогами черта и помыслами Дьявола, раскрашенная под Бога.

Против глупости, говорил *Фридрих Шиллер*, сами боги бороться бессильны.

И потому в человеческой слабости «умному человеку иногда приходится выпить, чтобы не так скучно было с дураками», — вспомнился мне вдруг *Хемингуэй*.

Библиографический список

1. Тендряков В.Ф. Ночь после выпуска. М.: Дет. лит., 2011.
2. Касаткин И. М. Мужик. Рассказы. М.: Советский писатель, 1991.
3. Бёлль Г. И не сказал ни единого слова... Новосибирск. Дет. лит. 1991.
4. Рохлин А. Писатель и время // Некрасов В.П. В самых адских котлах побывал...: Сб. повестей и рассказов, воспоминаний и писем. — М.: Мол. Гвардия, 1991.
5. Некрасов В. П. Саперлипопет // Некрасов В.П. В самых адских котлах побывал...: Сб. повестей и рассказов, воспоминаний и писем. — М.: Мол. гвардия, 1991
6. Вишневский Я. Л. Одиночество в Сети: роман. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016
7. Людмила Улицкая. Любовь и нежность в аду // Яхина Гузель Шамилевна. Зулехха открывает глаза. М.: Издательство АСТ, 2018.

References

1. Tendryakov V.F. Noch' posle vypuska. M.: Det. lit., 2011.
2. Kasatkin I. M. Muzhik. Rasskazy. M.: Sovetskij pisatel', 1991.
3. Byoll' G. I ne skazal ni edinogo slova... Novosibirsk. Det. lit. 1991.
4. Rohlin A. Pisatel' i vremya // Nekrasov V.P. V samyh adskih kotlah pobuyval...: Sb. povestej i rasskazov, vospominanij i pisem. — M.: Mol. Gvardiya, 1991.
5. Nekrasov V. P. Saperlipopet // Nekrasov V.P. V samyh adskih kotlah pobuyval...: Sb. povestej i rasskazov, vospominanij i pisem. — M.: Mol. gvardiya, 1991
6. Vishnevskij YA. L. Oдиночество v Seti: roman. SPb.: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2016
7. Lyudmila Ulickaya. Lyubov' i nezhnost' v adu // YAhina Guzel' SHamilevna. Zulejha otkryvaet glaza. M.: Izdatel'stvo AST, 2018.

Информация об авторе

Г.В. Лобастов — доктор философских наук, профессор кафедры философии, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) — МАИ; Президент Российского философского общества «Диалектика и культура».

Information about the author

G.V. Lobastov — DSc in Philosophy, Professor, Department of Philosophy, Moscow Aviation Institute (National Research University) — MAI; President of the Russian Philosophical Society “Dialectics and Culture”.

Статья поступила в редакцию 10.03.2022

The article was submitted 10.03.2022